

основания утверждать, что в орбиту грандиозного художественного синтеза, претворенного в «Фаусте II», было вовлечено и произведение русского поэта. Тогда бы перед нами предстал поистине уникальный случай взаимодействия русской и немецкой литератур, органично, между прочим, вписывающийся в контекст гётевской концепции мировой литературы: явившаяся откликом на первую часть «Фауста» Гёте, пушкинская «Сцена из Фауста» становится объектом рецепции поэтом в период его работы над «Фаустом II».

При более детальном рассмотрении вопроса необходимо будет постоянно иметь в виду, что в гётевском произведении едва ли не каждый персонаж (и, конечно же, главные действующие лица), едва ли не каждая сцена и ситуация представляют собой художественные символические модели, в формировании которых «участвовали» импульсы, идущие из разнообразных, нередко разделенных бездной пространства и времени «источников» [17].

Учет этого обстоятельства — неперемнное условие продуктивного изучения генезиса «Фауста II», о чем иногда, к сожалению, забывают. В работе Б. Я. Геймана «Петербург в „Фаусте“ Гёте», где собран большой фактографический материал, читаем: «... конкретное содержание подвига Фауста было найдено Гёте в ходе тех многообразных, сложных и длительных размышлений, которые были разбужены в его сознании известиями о петербургском наводнении 1824 г. Огромное впечатление от этого события не только подсаказало Гёте тему развязки, но и содействовало возобновлению интереса к «Фаусту», которого он оставил много лет тому назад. Не будь Гёте так потрясен известием о катастрофе в Петербурге, 2-ая часть «Фауста», возможно, осталась бы ненаписанной. В этом именно смысле можно ставить тему Петербурга в „Фаусте“ Гёте» [53].

Мы вполне согласны с автором, что петербургская катастрофа 1824 г. оставила глубокий след в сознании Гёте в канун его обращения к работе над второй частью «Фауста», и здесь, как говорится, есть над чем подумать. Но мы также знаем, какое впечатление произвели на поэта известия о наводнениях, обрушившихся примерно в то же время на голландские и немецкие города [14, с. 640, 739—740].

Что же касается других выводов и предположений Б. Я. Геймана, то, не полемизируя с ними, заметим только, что замыкать всю творческую историю такого универсального произведения, как «Фауст II», на одном единственном событии явно неправомерно. Помимо всего прочего, автор упускает из вида, что образ Петербурга как олицетворения России мог ассоциироваться у Гёте с образом разбушевавшейся водной стихии задолго до 1824 г., возможно, еще на рубеже 1770—1780 гг. [11, с. 86—87].

Многозначительной выглядит в этом плане и следующая цитата из «Пробуждения Эпименида», одного из «фаустовских» произведений позднего Гёте, создававшегося летом 1815 г., т. е. параллельно работе над другим «фаустовским» произведением — «Западно-восточным диваном»; в этом «праздничном представлении» аллегорически изображено «пробуждение» немецкого народа, с помощью России освобождающегося от наполеоновского владычества (перевод С. Соловьева):

Пусть силы зла, господствуя открыто,  
В величьи безобразном спорят яро,  
Чтоб расточать, губить в алчбе несытой  
Прекрасные дары земного шара,  
Но уж земли колеблются твердьни,  
И скоро рухнет царство их гордьни.  
С Востока катится лавина снега,  
Громада льда летит, растет все боле  
И тает, волны хлынули от берега,  
Морская хлябь бушует на раздольи.  
На Запад, Юг несется вихрь с разбега,  
Разрушен мир и чае лучшей доли:  
От Океана, Бельга нам спасенье  
Приносит сил счастливое сцепленье

[54, с. 465—466, 501].